

Роман Сергея Есенина и молодой поэтессы-имажинистки Надежды Вольпин, как и многие есенинские романы, поначалу был одухотворенно-сложным, под конец – мучительным. Начался он еще до знакомства и женихьбы Есенина на Айседоре Дункан, возобновился после разрыва со знаменитой танцовщицей и возвращения поэта в августе 1923 года в Москву. Точку поставили в начале 1924 года. По инициативе Вольпин, которая в то время уже твердо была “намерена одарить его ребенком”. Нежеланным для него, Есенина, ребенком. “Зря вы все-таки это затеяли, – говорил он перед отъездом Вольпин в Петербург. – Понимаете, у меня трое детей. Трои!” “Так и останется: трое, – ответила она. – Четвертый будет мой, а не ваш. Для того и уезжай”.

Летом 1925 года друг Есенина Александр Михайлович Сахаров, глядя на гдовалого Александра Сергеевича, говорил молодой маме:

– Сергей все спрашивав, каков он, черный или беленый: А я ему: не только беленый, а просто вот каким ты был мальчиком, таков и есть. Карточки не нужно.

– А что Сергей на это?

– Сергей сказал: “Так и должно быть – эта женщина очень меня любила”.

...Из четырех детей Есенина сегодня жив только самый младший – Александр Сергеевич Есенин-Вольпин: поэт, философ, математик, диссидент. Живет в США, в Бостоне. Начиная с 1989 года, когда ему впервые удалось получить въездную визу в СССР, по несколько раз в год приезжает навестить маму – Надежду Давыдовну Вольпин. Но последний его приезд был ради отца – в канун 100-летнего юбилея Сергея Александровича Есенина.

– На самом деле до тех пор, пока я не покинул в 1972 году страну, фамилия моя была Вольпин, я никогда от нее не отказывался. А Есенин-Вольпин – научный псевдоним. И мне всегда бывало неловко, если меня называли просто Есенин. В метрике записано: отец – Есенин, мать – Вольпин, но, когда я хотел узаконить двойную фамилию, мне сказали, что это можно сделать, только обратившись в высокие сферы МВД. Как вы понимаете, с этими людьми я не хотел связываться. И документы на выезд оформлял как Вольпин, и в Европе так несколько месяцев жил. Но когда в Париже получил эмиграционную карту в США, там уже значилась двойная фамилия. Кто постарался, я так и не узнал. Но никогда не буду сам себя именовать Есениним. Это совершенно другие ассоциации.

– Имеется в виду то, как относился Есенин к факту вашего рождения, а затем и к вам самому?

– Мой отец умер 70 лет назад, мне было тогда полтора года. О чем тут говорить!

– О стихах. Ваших стихах, в которых тоже поэт и тоже диссидент – Юрий Айхенвальд услышал “ночь произнестной искренности”, родившиеся, как он считал, вас с вашим отцом, “ночь болезниного надрыва, утверждающего себя как совершенно естественное мироощущение в обществе доведенных до скотского состояния людей”. Именно за стихи вас, кажется, и арестовали в первый раз?

– Да, в первый раз меня посадили именно за поэзию. Хотя обвинение звучало так: “за антисоветскую агитацию и пропаганду”. Это было в 1949 году, вскоре после окончания аспирантуры. В июне я защитил кандидатскую диссертацию по математике, в июле – за стихи – уже сидел на Лубянке.

Лит. газ. – 1996. – 24 сив. – с. 6 Есенина она любила. Но меня любила – больше

А.С. ЕСЕНИН-ВОЛЬПИН в беседе с корреспондентом “ЛГ” Ириной ТОСУНЯН

– А что это были за стихи?

– Те самые, которых власти заслуживали.

*Никогда я не брал сохи,
Не касался труда ручного.
Я читаю одни стихи,
Только их – ничего другого...
Но поскольку вожди хотят,
Чтоб слова их всегда звучали,
Каждый слесарь, каждый солдат
Обучает меня морали:
“В нашем обществе все равны
И свободны – так учит Сталин.
В нашем обществе все верны
Коммунизму – так учит Сталин”.
...И когда “мечтам всех времен”,
Не нуждающуюся в защите,
Мне суют как святой закон,
Да еще говорят: любите, –
То, хотя для меня тюрьма –
Это гибель, не просто кара,
Я кричу: “Не хочу дерьма!”
...Словно я не боюсь удара.
Словно право дразнить людей
Для меня как искусство свято,
Словно ругань моя умней
Простоватых речей солдата...
...Что ж поделаешь, раз весна –
Неизбежное время года,
И одна только цель ясна,
Неразумная цель: свобода.*

После ареста я написал еще около тридцати стихотворений, за каждое из которых меня еще минимум тридцать раз можно было посадить за решетку.

Надеюсь, скоро сборник моих стихов будет напечатан в России. Но давайте сразу все рассставим по местам. Сейчас я могу сказать: кое-что в поэзии я сделал. Кое-что. Но это было давно. Стихов я не пишу уже лет двадцать и от литературы отошел довольно далеко. Занимаясь математикой и философией. Причем философом ощущаю себя все-таки больше, чем поэтом, и даже больше, чем математиком.

– Ну, а сыном поэта – на разных этапах вашей жизни – вы себя ощущали?

– Конечно, ощущал, но старался как можно меньше об этом думать. Совершенно очевидно, что отец – это одно, сын – другое. И коль скоро я мнил себя человеком творческим, то должен был идти своей собственной дорогой. И это замечательно, что мама не дала мне в детстве фамилию отца. Всякий бы меня тогда сравнивал с моим знаменитым отцом, а при чем здесь это сравнение?

– А сами вы когда узнали, кто ваш отец?

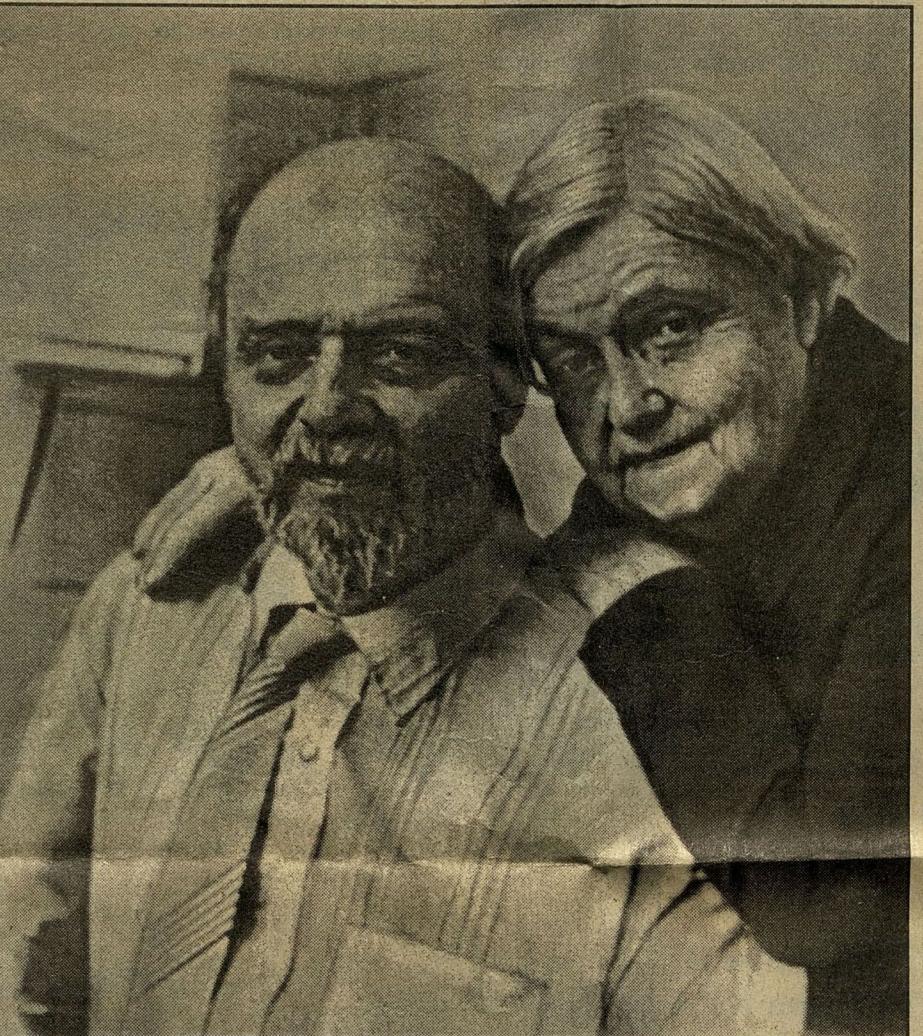
– Еще в дошкольном возрасте. Видел на столе у мамы его книги.

– И когда вы его почувствовали как папу?

– Когда прочитал поэму “Черный человек”. Дальнейшие объяснения мне были не нужны. До этого слышал, конечно, разнородные вещи, и это не было для меня чем-то важным. Дома меня направляли по пути астрономии и других естественных наук. Поэзия к этому имела мало отношения. Потом, лет в шестнадцать, сам стал писать стихи, но никогда не счи-тали их своим основным делом.

– Поэт Сергей Есенин вам близок?

– Частично. Он действительно один из крупнейших поэтов XX века в России. Но,



А.С. Есенин-Вольпин с матерью

скажем, Блок или Гумилев имели для меня еще большее значение.

– А факты из биографии отца вас не занимали? Литературоцентристская стезя не интересовала?

– Никогда. Пусть этим занимаются другие. Мне, конечно, были интересны эпизоды его столкновений с властями, загадочный вопрос его конца: было это самоубийство, убийство?..

– Вы верите в версию убийства?

– Я был удивлен, когда услышал об этом в первый раз. Но поскольку эта версия неоднократно муссировалась в печати и даже подкреплялась правдоподобными фактами, совсем игнорировать ее нельзя. Я думаю, имело место несколько завуалированное доведение до самоубийства. Помните сцену самоубийства Алексея Кирilloва в “Бесах”? Когда Петр Степанович стоял в соседней комнате и ждал: застрелится – не застрелится? И готов был ворваться и помочь. С Есениным могло произойти нечто подобное.

Скажем, при жизни своей он так и не дождался собрания сочинений. Но ему могли объяснять, что если сейчас, в блеске славы, он уйдет, то все, им написанное, будет непременно опубликовано и непременно в собрании сочинений. Если же откажется, да к тому

же повторит два-три дебоша, таких же, как по пути с Кавказа в Москву, жизнь его в поэзии будет закончена, а сама память о нем стерта. Могли так оказаться на него давление, могли – иначе. Уж что-то, а конфеты они заворачивать умели.

Но вешался он все-таки сам. И уж совершенно не могу принять утверждение, что ему была нанесена черепная травма, что был изувечен лоб. Все это нелепость. Другое дело, кому эта нелепость понадобилась.

– А что говорила вам мама о смерти Есенина?

– Она всегда считала, что он покончил с собой при помощи веревки, но уточняла при этом, что из веревки той не была сделана петля, она была просто обмотана вокруг шеи так, что могла и размотаться. Ничего больше мама не знала.

Мы с моим старшим, уже умершим братом Костей беседовали на эту тему, и Костя, лучше знавший Есенина, считал, что он все равно бы погиб, в любом случае не дожил бы до 37-го года, не перенес бы коллективизации деревни. Видя, куда движется страна, он мог предпочесть быстрый конец.

Конечно, мог и эмигрировать. Но он не я, это я мог, на манер Остапа Бендеря,

воскликнуть: “Ну что ж, адье, великая страна. Я не люблю быть первым учеником и получать отметки за внимание, прилежание и поведение”. Продолжаясь в России добротавческий период, меня бы сюда и калачом не заманили. А Есенин – хоть и бунтарь, хоть и дебошир – эмигрант никогда бы не стал. Умер бы, но не стал.

– А от бурного характера Есенина передалось что-то его детям?

– Во мне, как и в нем, всегда жил дух протеста. Просто у меня это выражалось в другой форме.

– Вы говорите о вашей диссидентской деятельности? Кстати, можете ли вы сами себя назвать истинным диссидентом?

– Исходя из определения диссidenta как человека, сидящего с краю от остальных, конечно, я был диссидентом. Я просто никем другим никогда не был. Но в те времена мы себя называли “инакомыслящими”. А когда наши доблестные органы стали гоняться за диссидентами, я уже успел перебывать и на Лубянке, и в психушке у Сербского, и в питерской тюремной психиатрической больнице, и в ссылке в Карагандинской области. Имел и опыт, и необходимые юридические познания, чтобы помочь другим правозащитникам.

– У вас был какой-то официальный статус в правозащитном движении?

– У меня просто была моя личная тема: соблюдение процессуальных правил в судопроизводстве. И, может быть, лучшее из всего, что я написал, это юридическая памятка для тех, кому предстояли допросы. Она была напечатана на машинке, и копии довольно широко распространялись. Мне рассказывали, как бесили следователей, когда подследственные грамотно сопротивлялись. “Вольпина началились, – кричались они. – Ну, тогда с вами бесполезно разговаривать!”

– Я знаю, что бесили вы не только следователей. Начальник Агитпропа ЦК Ильин в каком-то из своих выступлений по поводу антисоветчины и модернизма в искусстве, говоря о ваших стихах, назвал вас “ядовитым грибом”. Что же касается официального статуса, от которого вы открайствуетесь, то ведь именно вы вместе с В.Н. Чалидзе и А.Д. Сахаровым создали Комитет прав человека. И сами стали экспертом этого комитета.

– Правильнее сказать так: Чалидзе создал комитет, Сахаров принял в нем участие. Я много с ними беседовал. Вот что организовал лично я, так это митинг на Пушкинской площади с требованием гласного суда над Синявским и Данилевым.

Вместе с физиком, ныне покойным Валерием Никольским, мы назначили демонстрацию на 5 декабря – День конституции. Ведь должна конституция соблюдаться хотя бы в свойственный день. Долго там простоять нам, конечно, не дали, но гласность суда, неудовлетворительная, но хоть какая-то, имела место. По крайней мере, суд не считался закрытым и кое-кто все-таки попал в зал суда.

– Вы тоже были на суде?

– Нет, я заболел, и, думаю, не без помощи “врачей” получил ожоги. Диагноз, правда, поставили: аллергия. Но бывальные люди объяснили, как вызывалась такая “аллергия”. Так или иначе, но пару месяцев

цев я хворал, а когда выпустили из больницы, суд уже закончился. Меня вообще очень полюбили “лечить” – и при Сталине, и при Хрущеве.

– А при Хрущеве за что?

– За то, что позволял себе контакты с заграницей сверх тех узких рамок, которые тогда допускались. А проще – нелегально пересыпал разные рукописи.

– 31 мая 1972 года вы уехали из СССР. За границей вы продолжили правозащитную деятельность?

– Наверное, можно было бы и активнее это делать. Но очень много занимался математикой и философией. Сейчас, когда приезжаю в Россию, у меня охотно берут интервью: о правозащитном движении, о Есенине. Но никого из интересовала

статья о математике. А Есенин – хоть и бунтарь, хоть и дебошир – эмигрант никогда бы не стал. Умер бы, но не стал.

– Александра Сергеевича, а стихи, посвященные отцу или, скажем, наиванные его творчеством, вы когда-нибудь писали?

– Нет, нет. Я жил в другое время, увлекался символистами, французскими поэтами. Имажинистская лирика ничего общего с этим не имела. А темы жизни и смерти, которые есть и у Есенина, и у меня, – так они есть у всех поэтов.

– В разговорах с вашим братом Костей, с мамой вы тоже говорили об отце “Есенин”?

– Конечно, – отец. Не было необходимости называть его по фамилии. Он все-таки был свой. С Костей отец у нас общий, все остальное – более-менее врозь. Костя, не забудьте, был настоящим членом КПСС. Однажды он меня упрекнул, мол, из-за тебя в Париж не пустили. А я в ответ: “Подумаешь, меня из-за таких, как ты, вообще никуда не пускают”. Кстати, в Париж он съездил.

– А вы действительно были похожи на Сергея Есенина?

– Я был несколько темнее. Но помню одну свою фотографию, когда мне было девятнадцать. Голова слегка повернута и склонена к плечу. Когда увидел у Кости фотографию отца в том же возрасте в той же позе, в первую минуту решил, что это самая моя фотография.

– Вы с мамой часто разговаривали об отце?

– Да, но она не любит острых тем в этом вопросе, часто не знает, что отвечать. И мне трудно судить: не расстанься они с Есениным, была бы она ему хорошей подругой или нет? Она ведь, прямо скажем, никогда бунтаркой не была.

– Но ведь очень его любила?

– Конечно, любила. Но меня любила – больше.

– И стихи?

– Как поэта она меня всерьез не принимала. Моя мама вообще никогда не могла понять, чем я занимаюсь. Диссидентка, из нее не получилось бы, это точно. Но Есенина она считала и считает самым крупным явлением своей жизни.

– Но ведь на вашу жизнь онказал влияние...

– Влияние скорее оказалось сознание того, что раз моего отца так высоко ценят и так свято помнят, то плох я буду, если тоже не достигну чего-то в жизни. В поэзии можно быть кому угодно, только не эпигонаем. А если бы я пошел по его пути, то именно эпигоном и стал бы. Превзошли его я не мог и всегда понимал это.